

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН ГАЗЕТА

2023 №17

*Игорь Изборцев / Огуречный тракт*





## Игорь Александрович ИЗБОРЦЕВ (Смолькин)

Родился в 1961 году в Пскове. Окончил инженерно-строительный факультет ПФ ЛПИ и работал мастером в строительном управлении. В конце 80-х — корреспондент в районной газете, позднее — директор малого предприятия. В начале 90-х оставил бизнес. На общественных началах работал в храме чтецом, псаломщиком. С 1994 по 1999 гг. исполнял обязанности ответственного редактора вестника псковской епархии «Благодатные лучи».

Член Союза писателей России. Автор одиннадцати книг прозы и публицистики. С 1995 г. по настоящее время является председателем Приходского совета храма Воскресения Христова в Орлецах. С 2004 года председатель правления Псковского отделения Союза писателей России. В 2009 году избран действительным членом Петровской академии наук и искусств. Лауреат литературной премии им. Сергея Нилуса, Всероссийской православной литературной премии Св. благоверного Великого князя Александра Невского. Лауреат литературных премий В. Я. Шишкова и Михаила Алексева.

Живет в Пскове.

## ПАМЯТИ Виктора Алексеевича ПРОНИНА

(1938–2023)

Умер наш друг.

Умер преданный Большой литературе писатель.

Умер человек благородного сердца и глубокого ума.

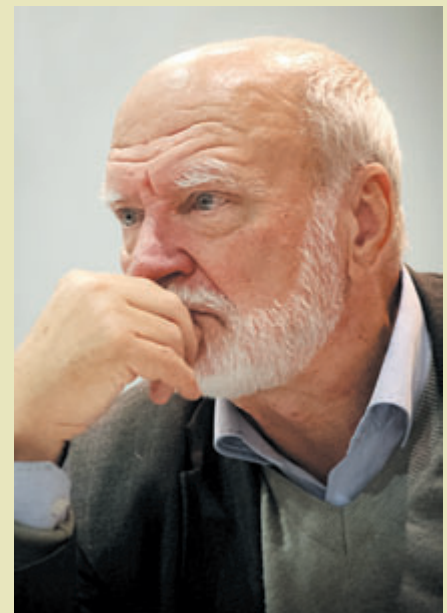
За двадцать лет сотрудничества с «Роман-газетой» Виктор Алексеевич стал нашим ведущим автором. Шестнадцать раз на страницах журнала печатались его произведения. И неизменно — получали горячий отклик у читателей.

Автор «Ворошиловского стрелка», «Затмения» и «Кинжала для левой руки» был всегда востребован Русским Миром. Его непримиримая социальная и гражданская позиция отвечала чаяниям большинства наших соотечественников.

Честь, достоинство, литературный талант и писательское мастерство — этими качествами он обладал в высшей мере.

Скорбим вместе с родными и близкими Виктора Алексеевича Пронина!

*Редколлегия и коллектив «Роман-газеты»*



- 2002, №№ 13, 14 «Брызги шампанского»
- 2003, № 13 «Ворошиловский стрелок»
- 2004, № 15 «Дурные приметы»
- 2005, № 14 «Победа по очкам»
- 2007, № 2 «Высшая мера»
- 2008, № 14 «Человеческий фактор»
- 2009, № 14 «Божья кара»
- 2010, № 15 «Все они почему-то умирали»
- 2011, № 20 «Итальянский след»
- 2013, № 5 «Бомжара»
- 2014, №№ 17, 18 «Падай, ты убит!»
- 2016, № 7 «Затмение. Из хроники «лихих 90-х»
- 2017, № 21 «Победителей не судят»
- 2019, № 10 «Кинжал для левой руки»





Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:  
Дмитрий Белюкин  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2023  
Все права защищены

Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-68350  
от 30.12.2016 г.

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные  
индексы издания:

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2023 №17 /1934/ Основана в 1927 г.

Игорь Изборцев

## Огуречный тракт

Повесть и рассказы

### Свадьба

Рассказ

*Что тебе во всём мире, когда душа погибает?*  
Святитель Тихон Задонский

Ивана Васильевича никуда не приглашали. Лет десять уж — не меньше. Тогда-то гостем званным в последний раз и сидел... за поминальным столом. Бабу Ньюшу, родственницу его дальнюю, провожали в путь всея земли. Царствия ей Небесного... Потом года три в деревне вообще никто обществом не собирался. В себя всё прийти не могли: затылки чесали да нули считали в новых деньгах. А уж как сосчитали — разом друг к дружке и охладели. Лёшка Дашев, крестник, женился, так про Ивана Васильевича, не последнего для Лёшки человека, вспомнить не захотели. Тогда он подумал: оплошность, мол, мало ли что бывает, за память, мол, зашло? Незванным явился, графин хрустальный принёс в подарок. Приняли, конечно, усадили в уголок, но посмотрели так неласково, что зарёкся Иван Васильевич впредь незванным ходить — себе дороже: глядишь, за воротник, да и на холодок. Это ж раньше было: красному гостю красное место... Теперь же — много едоков и без ваших дураков. Так-то...

Нынче, после Петра и Павла, затеяли Касмановы ладить сыну Фedyшке свадьбу. Дом Касмановых на холме в конце деревни — со всех сторон догляд, так что Иван Васильевич, собирая в палисаднике первую малину, видел, как с понедельника уж засуетилась у своего дома мать жениха Авдотья: колотила половики, одеяла, подушки; скоблила на скамейке под окном кастрюли да чугуны. Со среды начали подъезжать первые гости — которые издалека; заставили улицу перед домом машинами и снова-ли те туда-сюда — в посёлок да обратно — нагруженные сумками. Фedyшка выставял в окошко громкоговорители и врубал на всю катушку современную музыку, от которой и у куриц вяли уши, так что сыпались они горохом по сторонам от окон, а в саду под яблонями устраивали свадебные столы. «Что ж, — размышлял Иван Васильевич, пощипывая пегий стариковский ус, — умели поить-кормить, умеете и снарядить».

В четверг пахнуло от дома Касмановых сладким пироговым духом. Иван Васильевич глубоко вздохнул, вспоминая, как, бывало, и на его столе доходили на блюде под полотенцем пышнотелые расстегаи, чинённые творогом да грибами. Скоря и умела на руку была его жена-покойница Анастасия по пирогам. Достает, бывало, из печи и при-

говаривает: с пылу, с жару, кипит, шипит, чуть не говорит. Да уж, теперь и на поминки некому будет испечь... От печальных воспоминаний грудь переполнилась тягостной истомой. Манящее и будто бы что-то обещающее чувство увлекло его мысль к клубящейся на границе сознания радужной дымке... «Нет, нет там ничего, — дал себе задний ход Ивана Васильевич, — одна безысходная стариковская грусть-тоска». Он резко встряхнулся, разгоняя наваждение... крикнул, поперхнулся и смачно чихнул, распугав с завалинки тучных сине-зелёных мух. А пригревшийся там же под июльскими лучами кот Калач, привыкший к стариковским немощам хозяина, и не шелохнулся — лишь лениво повёл в сторону блящим треугольным ухом. «Это что ж, — рассердился на себя Иван Васильевич, — старые кости захотели в гости? Сиди уж на печи...»

Детская обида, однако, тонушеньким голоском свербела в голове и целый день не давала успокоиться. Был бы Алексей жив, первым меня пригласил, — изводелся Иван Васильевич, — поди, уж не забыл бы... Авдотьин муж, Алексей Данилович, погиб двенадцать лет назад: пилил дрова, да запнулся и упал грудью на циркулярную пилу. Поговаривали, что, дескать, сын Федька случайно полешко ему под ногу обронил, а тот и зашибся... Только тут — полный мрак, да и кто доискиваться будет? А смерть, одно слово, — жуткая, хотя и мгновенная, без мучений. Иные и тихо умирали, в постели, а какую муку несли через болезнь? Но суд Божий разбирать — пустое дело: каждому своя смерть, в свой срок — по делам да грехам... Нет уж, — взял себя в узду Иван Васильевич, укладываясь спать, — без пирогов обойдусь — сухой краюхой; в русском брюхе, как говорится, и долото сгниёт. Да и какая это свадьба, если на то пошло? Если в рассуждение войти, то свадьбы с Воздвиженья ладятся и до Филиппова поста. А нынче разгар саекомоса, по примете народной — нету счастья в таком браке. Не по-людски... Иван Васильевич хмурился, понимая, что лукавит. «Ладно уж, — махнул рукой, — сенокос-то свой они, что говорить, справно доводят. Вон стогов сколько уж намётано, что кочек на болоте. А отцовские обычаи и заветы кто ж нынче соблюдает? Сам-то? На себя посмотри...» Иван Васильевич нервно извивал ус в тонкую пегую нить, вслушиваясь в подсердечный укорливый голос совести... «Сам-то в Великий пост с женой расписывался и греха не боялся». — «Какой там пост? — ворчливо ответствовал рассудочный оправдательный шепоток. — Это когда было? До поста ли тогда?» — «Пост — он всегда пост, так же как и неправда — всегда неправда. Да ну вас...» — Иван Васильевич взбил поудобнее ко сну подушку и погасил лампу, словно надеясь покровом темноты усыпить нелецеприятного подсердечного увещателя. Не тут-то было: с совестью, как говорится, не разминуться...

Во сне Иван Васильевич увидел жену, Анастасию Романовну; увидел, как сидит она за столом, выложив перед собой большие, натруженные руки.

— Ваня, я пироги испекла, поешь, родимый, — говорит нараспев, словно причитает.

В центре стола — большое глиняное блюдо, на котором в прежние благословенные деньки доходили Настины пироги. Расшитое красными цветами полотенце откинута, и перед глазами — кучка сухих заплесневелых корок, источенных жуками. Иван Васильевич слышит возню за стеной в сенцах — кто-то чужой и враждебный шебуршится там, среди банок и кринок, хихикает и неопрятно чавкает...

— Я пироги испекла, поешь, — слышит он опять знакомый до боли голос и понимает, что не уберёт Настино угощение, проворонил, упустил.

— Сейчас, Настя, сейчас, я принесу, — шепчет он и пытается подняться, но чувствует, что сил нет, силы оставили его: вязкий, цепенящий члены страх сковал его тело, сделал беспомощным, бесполезным...

Ему больно, стыдно за свою слабость, совесть не даёт ему покоя...

Иван Васильевич поднялся задолго до света, вышел на двор и посмотрел на ясную круторогую луну. «К суху и теплу, — решил, — дождю нынче не бывать». Да и в ухе правом звенело, а уж это у него самая верная примета к предстоящему жаркому дню. Сейчас же, за полночь, было ещё зябко, так что Иван Васильевич скоренько накинул на себя ватную телогрейку и отправился в сарайчик, в столярную мастерскую, где уже второй день обтёсывал бревнышки взамен прогнивших на мостке через садовый пруд.

Не спеша тюкал по дереву топориком, аккуратно, блюда порядок, складывал в сторонку щепу. «Наперёд, — думал, — лесом едва ли удастся разжиться». Слышал он, что бор их сосновый да рощу собираются купить какой-то Кучумов — не иначе, татарин. А тогда за каждое брёвнышко плати втридорога. Куда ж тут с его пенсией? В соседнем районе, говорят, мужиков за порубку леса к деревьям наручниками цепляют. Плохо, конечно, брать чужое, но так уж повелось — леса соседские своими считать. Выходит, что вора́м с рук сходит, зато воришек бьют? Да и что купит сейчас мужик, когда заработка на заплату для портов не хватает? Опять же, не по-людски это, не по-русски — с народом так обходиться. Давеча ездил он на заброшенный карьер, за Изборск, песочка в телегу накидать — на их суглинках-то песка сроду не водилось. Накидал, как говорится! Подбежал мужик с ружьём: не моги, мол, частная собственность! — Какая собственность? С этого карьера уж двести лет вся округа песок берёт. — Нет, и всё! Таперича выкуплен! — И кем? — Каким-то польским паном Полубенским. — Вот те раз! Мало своих инородцев, так ещё и паны с татарами в хозяева наши лезут. И что происходит? Чей недогляд? Говорят, президент порядок наведёт. Что-то долго наводит, да и не в ту сторону, поди? Деревням их будто бы под снос судьбу определили: людишек по рукам и ногам повязали нищетой да бесправием, раздор промеж всех посеяли да зависть и раскидывают теперь по сторонам.

Что приглянется — к себе подбирают, остальное — в выгребную яму. Выборы вот были. Приехали, привезли ящик выборный, протоколы. Говорят: ставьте здесь галочки. — А почему здесь? Какие ж это выборы? — Здесь, и всё! А не то совсем худо будет, последнего, мол, лишитесь... Вот и выходит, что за Кучумовых и Полубенских мы голосовали. Они же хозяевами новыми после выборов пришли? Им ведь деньги дали, чтоб лес наш да землю покупать? Мужику-то за труд от зари до зари копейку жалеют, а им, значит, просто так миллионы — нате вам? Иван Васильевич тяжело вздохнул и шибче затюкал топором...

Как рассвело, вернулся в дом, вскипятил воду и, благословясь, сел чаевать. Пил внакладку, обмакивая кусочки сахара в точащую благоухания полевых трав обжигающе-горячую янтарную жидкость. С расстановкой делал маленькие глоточки, стараясь подольше задержать ощущение того, как истаивает во рту набухшая луговыми ароматами сахарная плоть. Со стены, с портрета в деревянной перламутровой рамочке, укоризненно смотрела на него незабвенная Анастасия Романовна. Строгие глаза её будто бы обличали: экий ты угодник чреву, Иван! Оставила тебя на минуту одного, а ты и дела другого не знаешь, как, чуть свет, сластям предаваться!

— Прости, Анастасья, — повинулся Иван Васильевич, — тебе-то прохладаться да бока греть вдовсталь не довелось, иной тебе вышел Божий суд, а я уж за тебя тут бока погрею, пока Господь обновя нас не соединит. Я уж, прости, обленился совсем, больше всё на печи лежу. Нынче вон свадьба у Фёдьки Авдотьиного. Помнишь, как нянчила его на руках? Наш-то Фёдор-пострел уж на девок заглядывался, а их Фёдька ещё в пеленки писал. А ты, чуть минута свободная, к Авдотье бежать и, ну, мальчика её пестовать — вот ведь радость тебе была! Как за своих обоях, тех, что Господь прибрал — ну, тут, опять же, Божий суд. — Иван Васильевич перевернул пустую чашку вверх дном и накрыл её ладонью. — Так что свадьба у любимца твоего Фёдьки... — Иван Васильевич опустил вниз глаза и покачал головой. — Только я не пойду, прости, так уж вышло. А поглядеть погляжу и тебе потом расскажу. Ну, да ладно, — вздохнул он тяжело, вставая, — пока роса, травку под окнами обкошу, а то пред людьми стыдно.

С утра пораньше у дома Касмановых загремела музыка. «Послушай, всё в твоих руках... Всё в твоих руках, всё в твоих руках...» — занудливо мямлил, не понять чей — то ли мужской, то ли женский голос.

Иван Васильевич, подкашивавший дотоле траву у крыльца, остановился и в недоумении пожал плечами. И что у них за песни? Никакого тебе смысла... Когда же очередной певец под грохот и вой инструментов шкодливо затянул на всю ивановскую: «Все равно, СПИД или рак, Грядущее — пепел, прошлое — мрак. Срази меня гром, если это не так...» — Иван Васильевич плюнул и вовсе отставил косу. Откуда ж, из

какой выгребной ямы берут они такие слова? Он вышел к палисаднику, посмотрел в сторону дома Касмановых. Из окон нараспашку гремела музыка, мужики покуривали в теньке, женщины сновали туда-сюда с кастрюлями и стопками тарелок, молодёжь суетилась у машин, наряжая их лентами и шарами. «Эко вас, — скривил губы Иван Васильевич, — и старые за молодыми вдогон. Забыли вы, бедные, как по-нашему петь, по-русски. Наши-то песни из земли родной происходят. Первая мать, как говорят, — Пресвятая Богородица, вторая мать — сыра-земля, из неё-то и хлебушек родится, и песня сердечная — о сторонущей родимой, о судьбе и горькой долюшке, об удали богатырской — как цветок полевой, из неё прорастает и радуется душу. А это что ж такое: «Грядущее — пепел, прошлое — мрак. Срази меня гром, если это не так...»? Срам один и морока для головы».

Иван Васильевич двинулся было во двор, но вдруг передумал; размышляя, постоял несколько минут неподвижно, потом махнул на себя рукой и вышел на дорогу. По правую её сторону, ближе к дому Касмановых, с поля напознал густой кустарник — молодая поросль ивняка. Туда и засеменял Иван Васильевич, коря себя за любопытство и сторожась, как бы кто не приметил. «Глазком лишь одним посмотрю, чтобы Анастасье доложить, — оправдывал он постыдную свою слабость пред взявшим над ним верх пытливым духом, — оттуда ведь сподручней будет, а я лишь одним глазком взгляну, как и что, — и домой». Не успел толком обосноваться на месте, как по дороге мимо него проследовала шумная ватажка деревенских во главе с шептунной бабёнкой Шуркой Скуратовой, прозванной за неистовый нрав Малютихой. Была она заводилой всех деревенских неурядиц. Так уж повелось: где Малютиха во двор проберётся, там, глядишь, пьянка и свара — жди беды. Муж её покойный, Григорий Лукьянович, — тот вообще был звериного норова человек. Косая сажень, взгляд исподлобья — того и гляди, в горло вцепится. Тиранил он мужиков нещадно, прислуживая нынешнему колхозному хозяину Девлету Гирееву: чуть что — кулаком под сопатку или за шиворот, да об землю. Как пёс хозяина своего сторожил, да и было за что — Гиреев, говорят, ему исправно платил за каждый лесовоз, что в Прибалтику отправлял. Вот тебе и колхозное добро! Нас, значит, за бревно сухостойное в наручники, а с него и за десять гектаров строевого леса спроса нет? Как в пословице народной: шмель проскочит, а муха увязнет. Но недавно настиг их обоих Божий суд. Гиреев литовца какого-то обманул, а тот возьми да и приедь для разбора. Григория Лукьяновича наповал из ружья уложил, а Гирееву ногу отстрелил — не пришёл, видно, тому ещё его срок помирать. Без ноги нынче ковыляет хозяин, вроде бы как и аппетиты поумерил. Только надолго ли? А Малютиха, как обезмужела, совсем с катушек сошла — и при муже-то удержу не знала, а тут вообще как бес в неё вошёл. Одним словом, не баба — а смута и дебош. И никакая лихоман-

ка её не берёт. Сегодня же для неё первый день — великая радость! В кои-то веки свадьба на деревне? Пей, гуляй, веселись! А приглашения ей — за ненадобностью, сама своё возьмёт.

Иван Васильевич наблюдал, как, вздымая пыль, тянут за собой метлами по дороге Малютихины сотоварищи — Васька Грязный да Петька Заяц — свежесрубленные молодые берёзки. «Заставу будут ставить на пути, — усмехнулся Иван Васильевич, — думают, много им подадут. А торбу-то какую прихватили? Знать, прибытка большого ждут? Вот они — дураки наши, без пастуха бродят. Пьём, мол, да людей бьём: знай наших, поминай своих!» Иван Васильевич прищурился, разглядывая, кто там ещё увязался за Малютихой? Вот ведь неймётся! Сколько ж времени пройдёт, пока жених за молодухой съездит, пока распишутся они да повенчаются? Это ж только на обратном пути свадебный поезд у заставы тормозить будут да выкуп брать за проезд? Ну, да — полдня пройдёт. «Погодь, — Иван Васильевич растерянно почесал затылок, — а как же мне-то выбирать? Ведь заметят, шельмецы, на смех поднимут. Вот, дескать, старый дед, умом рехнулся, в кусты запихнулся? От вас, де, старых дураков, молодым житья нет? Так что ж, выходит, я кругом дурак? Нет, — зарёкся он, — буду сидеть, пока не отойдут куда. На смех выставляться — тут уж, выкуси!»

Молодёжь у дома Касмановых резвилась. Кто-то релетировал будущее застолье и зычно выкрикивал:

— Горько! Горько!

«Как-то там мои?» — подумал Иван Васильевич.

— Олька! — у кустов, прямо под его носом, остановился ребёнок и восторженно заблажил: — Олька! Олька!

Это «горько» значит по-евоному, — сообразил Иван Васильевич. Он чуть тряхнул ветками и глухо заворчал медведем. Сквозь зелёное решето листья видел, как ребёнок разом застыл, насторожилась и вдруг, взвизгнув, замельтешил пятками по дороге.

— Медведя! Медведя!

«Хоть это-то умеет сказать, — удовлетворённо перевёл дух Иван Васильевич, — а то заладил своё “олька”».

Он попытался представить, как выглядят сейчас его внуки, которых три года уж не видел. Двое их у сына Фёдора — Боря и Вася. Поди, школу закончили? Заньло сердце: забыли совсем. Неужели не тянет к родному дому, к колыбели своей? Федька ведь вырос здесь и после армии четыре года отжил, а как уехал к шуринам, Даниле и Никите, в Тулу, на завод оружейный — большими заработками поманился, — год от года всё реже и реже нос казать стал. Теперь уж и вовсе позабыл родимую сторону. Федька-то ладно — он уж сам мужик немолодой, а вот внучат хотелось бы повидать. Как бабка померла, так отрезало их совсем от деда. Иван Васильевич вспомнил, как посмеивалась поначалу Анастасия Романовна над сынком, ставшим в одночасье туляком:

— Туляне за семь вёрст комара искали, а комар на носу.

— А вы, псковичи, небо колыями подпирали, — отбодрялся тот, — и вообще, вы — капустники, мякинники и ершееды.

— А вы — самоварники, — смеялась Анастасия Романовна.

— Вот, гляди, не буду приезжать, — кипятился Фёдор.

— Без корня и полынь не растёт, — улыбалась Анастасия Романовна, но тут лицо её строжило, и она уж с серьёзными нотками в голосе добавляла: — Глупа та птица, которой гнездо своё немило.

Выходит, немило гнездо-то наше. Нарожать-то нарожали, а научить не научили. Иван Васильевич сокрушённо склонил голову. Задумчиво сорвал сухой стебелёк, потянул в рот. Нарожали... Первенец-то Митька во младенчестве умер, второй вот — Фёдор, а третьего он опять Дмитрием назвал. Уж как Анастасия против была! Куда там? Он на своём умел стоять! А сердце материнское вешее — чуяло беду. Шесть лет было Дмитрию. Повели его в воскресенье в кино, а там буза какая-то возникла промеж парнями. И как Митька им под руку подвернулся, под чей-то нож? Ума не приложить. Разом жизни и лишился. Такая вот туга-беда... «Живём, поколе Господь грехам нашим терпит», — говаривал покойный отец Сильвестр. Только какие у Митьки-то грехи? Нет, не по его винам, — по родительским. Отец Сильвестр — это прежний батюшка; нынешний, что венчать Федьку Касманова будет, — отец Никон. Молодой — и тридцати-то лет, поди, нет? К тому же — полная отцу Сильвестру противоположность. Тот маленький, тщедушный был, борода — седой паклей на грудь, доброта в глазах и улыбка навсегда на ясном детском личике. Отец же Никон, хоть и худой, но высокий, борода стрижена, в глазах огонь, а губы, как месяц перевернутый, уголками вниз смотрят. Обличает всех, а на слово доброе скуп. Отец Сильвестр тоже поучать любил, но делал это ласково, с отеческой теплотой. «Детушек воспитать — не курочек пересчитать... Кто к Богу, к тому и Бог.. Одно проси: Господи, прости...» — просто у него это вышло и на сердце легко ложилось.

А к отцу Никону он и вовсе не ходил. Был как-то раз, а потом — всё, как отрезало: не может под его епитрахиль встать, и баста! Не сумел, видно, забыть Иван Васильевич, как кричал однажды отец Никон на весь храм: будем, мол, всё менять на новый лад; старину вашу, дескать, с красным попом вашим — козе под хвост; хватит бабкиными байками жить, теперь, дескать, всё по-иному будет; власть теперь нам не указ, будем по Уставу жить, а кому не нравится — вот он порог! «И что ж это выходит? Кто ж это красивый поп? Отец Сильвестр? А кто же книги старые служебные сберёт от пограбления, храм отстоял от закрытия в начале шестидесятых? Кто прежде поднял его из углиц? Нет, — думал Иван Васильевич, —

вот, когда другого настоятеля пришлют, тогда можно будет и на исповедь, и на причастие».

Отец Никон, к слову сказать, через свою резкость и прямопу имел много неприятностей. Так, явился однажды к Гирееву: дай, мол, леса на церковный дом. Тот: откуда, дескать, возьму? «Воруешь же лесовозами, вот один к нам и заверни, не поскупись. Бога не боишься, так хоть людей постыдишь». Гиреев, говорят, лицом пожелтел. «Ты что, мулла?» — вскричал. — Мой Бог, дескать, мне все простит! «Нет тут твоего Бога! — отрезал отец Никон. — Наш тут, Единый, во Святой Троице славимый и поклоняемый, и земля наша, и вода, и воздух наш». Махнул Гиреев своему янычару Григорию Лукьяновичу: мол, выведи прочь. А тот не понял, — подумал: кончать ему велели по па, — схватил батяню за грудки, на диванчик кинул и ну его душить подушкой-думкой. Еле, медведя этакого, оттащили... После всего Гиреев леса, конечно, дал — два лесовоза, а отец Никон, знамо дело, простил — не стал делу хода давать. Более того, говорил: вот он, дескать, Промысел Божий! Не мытьем, так катаньем — а лес нам вышел! Такой характер!

А ещё было... Дед Алексей на своей кобыле одноглазой проезжал как-то мимо церкви. Шарахнулась его савраска от беды какой-то, телегу занесло и — на тебе! — прямо на «жигуль» поповский. А там — и вмятины, и царапины. Отец Никон как выскочит, да как закричит: что ж ты, дескать, старый, наделал, что натворил? Тот: без умысла, мол, я, кобыла — такая-сякая — шарахнулась. «Я тебе дам кобылу! Да знаешь, кто я? Я тебе сам апостол! А то и выше бери! Ты на кого руку поднял? В геенну пойдёшь!» Струхнул Алексей Михайлович — он сызмальства Бога боялся; после войны помогал отцу Сильвестру этот самый храм из пепелища поднимать. «Прости, мол, Христа ради, батюшка, — взмолился, — я отработаю свой грех!» И ведь отработал, не смотри, что старого леса кочерга: и возил, и косил, и дрова рубил. Только стали после этого на отца Никона совсем косо поглядывать: больно суров да немилостив — жёстко стелет!

Отец-то Сильвестр куда как не такой был человек. Он если и укорял кого, то с любовью, без всякой обиды. «Гляди, мол, Ивашка, — говаривал Ивану Васильевичу (тот ведь после войны совсем мальцом был), — Бог не Никитка, повывломает лытки. Бога не обманешь, хоть и пораньше нашего встанешь...» Но куда ему о ту пору о Божьем было думать? Горяч был да скор — сердце яро, места мало, расходиться негде! Он и в комсомол, и в передовики, и в звеньевые. Вымпел на тараторе да звезда — какой уж тут храм? Это когда Митьку младшего Господь прибрал, тогда только характер его переломился. Выл громче Анастасьи, так что и в петлю хотел. Отец Сильвестр приходил, утешал. «Бог по силе крест налагает, — говорил, — покаяйся, помолись, пошлёт Господь утешение. Всяк про себя, а Господь про всех! А сынки твои — и малый и старший — в небесных кушач; о них не печалься. Сам Христос их привечает...»

Ещё много чего говорил отец Сильвестр и ведь нашёл какие-то нужные, самые правильные слова, так что поглядел на себя вскоре Иван Васильевич и не узнал: я ли это? Быть не может! Теперь лишь с горечью и стыдом вспоминал, как лютовал с женой да матерью, как к службе Божией не пускал, словами чёрными веру их костил, как в посты скоромное заставлял есть... Двадцать лет уж минуло с тех пор, — старший сын его, Фёдор, теперь уж почти в его тогдашнюю пору вошёл, — а всё стыдно. И прощение у жены просил, и каялся у аналоя пред отцом Сильвестром, да и с женой повенчался. Всё одно — муторно и стыдно... Указала как-то Анастасья на могилки сыновьи: вот она, мол, женитьба твоя в пост Великий! Он чуть волком не взвыл: «Что же делать?» — «Кабы я знала», — у самой плечи вздрагивают, а на лице не слезинки — без слёз плачет...

Сердце невыносимо защемило. Иван Васильевич зажмурился и что есть силы стиснул зубы. Тряхнул головой, отгоняя горький дурман. Потом открыл глаза и резко вздёрнул голову вверх. Солнечные лучи, сквозь лоскутную зелёную шапку, ударили в лицо и расплескались в глазах колючими огненными брызгами. «Так тебе!» — прошептал Иван Васильевич и утёр выплавившиеся в уголках глаз слезинки. «Господи, помоги, ослобони!» — добавил уже беззвучно и почувствовал, как разжимаются в груди тиски, и горечь быстрыми боязливими струями стекает в землю, а та, — как и всякая мать, неразумно готовая подъять на себя каждую сыновнину боль-тоску, — принимает и растворяет её в своём материнском сердце. Мать сыра-земля...

Иван Васильевич услышал, как у Касмановых, готовясь к отъезду, зашумели, захлопали автомобильными дверями. Присмотрелся и увидел Феду — большущего, что коломенская верста, в новом чёрном костюме. Отец-то его, Алексей Данилович, хоть и помельче в кости был, но пожилистей и в работе поспоривстей, — отчего-то подумал Иван Васильевич и совсем уж огорчился, глядя, как усаживается жених в разнаряженную светлую иномарку. До дрожи неприятно было ему видеть эти иностранные, похожие на расплющенных по сторонам жуков, автомобили. Вроде и ладные, и удобные, но... чужие, одним словом.

Машина жениха тронулась с места и поползла по ухабистой дороге, встряхивая на колдобинах навязанными на крыше и капоте шарами; следом потянулись остальные, опять же сплошь иностранные, машины с родственниками и гостями. Свадебный поезд миновал возбуждённо горланящую Шуркину компанию и поравнялся с кустами, где укрывался Иван Васильевич.

— На старости две радости: один сын — вор, другой — пьяница, — невесть к чему орала вслед пыльному облаку уже успевающая захмелеть Малютиха.

«Бабий язык — чёртова помело, — подумал Иван Васильевич. — А ведь добрая когда-то девка была,

завидная невеста. Коль под мой возраст подходила бы, глядишь, и я бы к ней в ворота постучался. Хорошо, позднее она заневестилась, так что эту чашу Григорий Лукьянович пил... бил, да не разбил...» Никто в машинах не обращал на Малютиху внимания. Иван Васильевич за широкими окнами видел Федьку, закаменевшего от предстоящего ему пугающего и таинственного действия, и оживлённые, от того же предстоящего, лица гостей.

«Любо им чужedomное, — опять вернулся он мыслями к прежнему. — Или своя разруха опостылела? Чужая радость своей печали дороже? А не оттого ли и разруха, что чужое родным стало? Чужбинка, однако, не по шерсти гладит. Своё ломаем, не бережём. Верно Анастасьюшка-то говорила: худая та птица, которая гнездо своё мараёт. Комбайны, на полях брошенные, в землю врастают да ржёт покрываются, как оные камни мхом. Деревни, что вдовы соломенные, пучат пустые глазницы на пашни заросшие. Словно мор лютый прошёл по земле. Что осталось, за грош продаём и на хлам нерусский меняем. Ни орут нас, ни сеют, сами мы, что ли, дураками родимся? Или всё ж сеют?»

Иван Васильевич припомнил гладкого, как голыш из ручья, комиссара из Европы. Гиреев так его и представил колхозному обществу: комиссар, дескать, из Европы Ричард Ченслер. Взобрёл тот на клубную трибуну, глазами пострелял по залу, — словно выискивал кого-то? — и улыбнулся, как савраска деда Алексея, выставив напоказ белющие, ровно перхотью посыпанные, лошадиного размера зубы: вон, мол, мы какие; не то что вы — гнилозубы да желтозубы. Народ-то наш подзапущен — что верно, то верно. Только где ж ему лекарства-то покупать, с какого достатка? От всех напастей самогоном пользует себя, будь оно неладно. Только этот Ричард не зубы приехал обществу лечить, не с пьянством бороться. Он, вроде как, головы решил народу поправить: поучить, как жить разумно. Вот, дескать, меньшинства у вас нарушаются, права их щемятся — в Европе того не любят и не приветствуют. Иван Васильевич, как понял, что о содомитах гость толкует, так вознамерился, было, плюнуть да уйти, но как тот про иные меньшинства заговорил — решил повременить. А гнул этот комиссар к тому, что веруют, де, в здешних местах неправильно, дремуче — в европах так давно никто не верует. Вот, говорит, есть, дескать, у вас уважаемый Девлет Гиреев — он как раз из меньшинств происходит. Почему ему мечеть не ставите? Почему щемите его права? Гиреев улыбался, лицо как жёлтый блин лоснилось, и тоже кивал: да, дескать, почему? А давайте, дальше гнул своё Ричард, спросим ещё одного из меньшинств. Есть у вас, спрашивает, такой Бекбулатович? (Всё ведь наперёд прознал, шельма!) Есть, ответили. Тут и сам Бекбулатович к трибуне выступил. Он уж прорву лет прожил в посёлке — из крещёных татар был. Почесал Бекбулатович затылок плешивый. На кой мне,

говорит, мечеть ваша? Мы крестов не боимся. Так прямо и сказал, а комиссару тому и крыть нечем. Спрятал он свои зубы лошадиные, скривился, будто клюквы ему в рот натолкали, и ушёл. А тут припоздавший отец Никон вбежал, хорошо — не поспел, а то быть международному скандалу. Уж он-то комиссара с его меньшинствами срамными ещё бы как взгрел!

«Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов», — улыбнулся Иван Васильевич. Последнее воспоминание прибавило ему духу: хоть что-то своё сохранили — слава Богу! Однако сомнения не уходили и — нет-нет — тревожно цепляли за живое. А если поднапрут комиссары эти? Они ведь — языком что рычагом? Да деньгами поманят? Устоим? Иван Васильевич посмотрел на томящуюся в пыли под солнцем Малютихину компанию. «Эти вон, — подумал, — ради чарки дармовой ни себя, ни других не пожалеют — горы свернут да на спины наши обрушат. Какой разум в такой голове? Одно слово: ехал к Фоме, а заехал к куме. Родился мал, вырос пьян, помер глуп... Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. — Иван Васильевич откинулся на спину. — Отдохну малость...» Сквозь рваное зелёное сито ветвей капала ему в глаза прозрачная небесная голубизна, затекала в голову и, смешиваясь с пряным запахом свежескошенных трав, кружила там пьянящим хороводом. Вот она, земля-то родная, да небо наше... Мысли стали вязнуть, путаться... Иван Васильевич понял, что если сей момент не поднимется, то уснёт. Противиться не стал, закрыл глаза и тут же, словно провалившись куда-то, действительно уснул...

Солнце, луна, звёзды... — всё это, открытое ему одновременно, не смешивается друг с другом, но наполняет живым неземным светом огромный мир, в котором он — мельчайшая песчинка. Кто я? Он боится хоть что-то сказать — что его слово в этой неместимой в разум огромности? Но чей-то голос отражается эхом от звёзд, обтекает словами луну, касается солнца... «Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором. И всё я не каюсь, наконец, Бог наслал великие пожары, и вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой...» Чьи это слова? Чей это голос? Мой... Он пугается... Кажется, все звёзды смотрят сейчас только на него — он в самом центре этого необъятного мира...

Небесная твердь лопаётся, он падает, летит куда-то вниз... Вот он уже в просторной комнате, за столом. Горят свечи... Множество свечей в массивных подсвечниках. Он видит себя со стороны: он в крытой красным бархатом собольей шубе с большим отложным воротником... золотые пуговицы, жемчуга... на ногах — красные сафьяновые ичиги... Он что-то пишет, обмакивая перо в золотую чернильницу...

«Се аз, многогрешный и худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом. Душою убо осквернён есмь и телом окалях. Яко же убо от Иерусалима божественных заповедей и ко ери-



хонским страstem пришед, и житейских ради подвиг прелстихся мира сего мимотекущею красотою...

Се заповедаю вам, да любите друг друга, и Бог мира да буди с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигните; веру к Богу твердо и непостыдну держите крепко, за нее страждите крепко и до смерти. А сами живите в любви. А воинству, поелику возможно, навькните...

И вы б, дети мои, Иван и Федор, жили бы в любви и в согласии заодин, и сей мой наказ памятовали бы крепко. Аще бо благо учнете творити, вся вам благая будет. Аще ли злая сотворите, вся вам злая сключатся, яко же речено бысть во Евангелии: аще кто преслушает отца, смертью да умрет...»

Он вчитывается и ужасается: кому я пишу? Фёдор — в Твери. А Иван? Кто Иван? Но тут его пронзает усажающее прозрение.

— Нет, — шепчет он, словно отмахиваясь, — не может быть!

— А что бы ты хотел, грешный Ивашка?

Он оборачивается и видит отца Сильвестра. Тот в белоснежном подряснике с золотым крестом; борода его не седой паклей на груди, а как чистейший первый снег.

Он чувствует себя послевоенным юнцом, да и одежда на нём теперь самая обыкновенная — повседневная деревенская. Дорогой шубы да золотых украшений — нет как нет.

— Батюшка, благослови, — тянется он руками к священнику.

— А на что тебя благословить? — Отец Сильвестр пугающе строг. — На что тебя благословить, — повторяет, — на какие добрые дела?

— Я не знаю, — он чувствует себя совсем растерянным и вдруг спрашивает: — А где мой сын Иван?

— Так ты ж его убил.

— Когда? — спрашивает он и с ужасом понимает, что всё так и есть, что он и убил. Только как?

— А жену свою кто, на слёзы её не смотря, в больницу взашей гнал к убийцам-врачам? То-то! Вот тот убитый во чреве младенец и был твой сын Иван.

— Как же? Я ведь не знал.

— Да всё ты знал, — отец Сильвестр строго грозит пальцем, — а ну-ка припомни!

Он вспоминает... Плачет Анастасья, на живот свой указывает: «Он ведь живой, Ваня, как же его под нож?..» Теперь он сам плачет, и слёзы его, как капли расплавленной смолы, опаляют щёки, капают на грудь и прожигают до самого сердца...

— Говоришь, в деревнях ваших жить некому? — продолжает отец Сильвестр. — Умирают деревни? А что ж вы детей своих губите: они бы вам и землю пахали, и сеяли, и дома строили. Ты всё татар да литовцев коришь, воюешь с ними мыслями пустыми, а ближних-то своих ты поберёг? Ведь и их-то, если не делом, то словом, мыслью, побил да грязью зачернил. Начальники тебе плохи! Не по праву, де, и истинне правят. А сам-то в мыслях не мечтал о том? Не

царствовал? Царствовал! Суд да расправу вершил? Было! А правый ли суд? То-то. Все у тебя плохи — воры да пьяницы, все тебя не привечают, в гости не зовут. А ты-то кого позвал? Последним с кем поделился? Кого из беды вызволил?

— Да что я могу? Стар я уже, да гол как сокол, — он пытается оправдаться, но сразу видит своё лукавство и неправоту. А отец Сильвестр тут же обличает:

— Беден, гол, говоришь? Так и другие не лучше. Вот и позвал бы к трапезе своей. Жене-то, помнишь, наказывал: «Что в печи, всё на стол мечи!» Вот и сам бы так. Не в богатстве дело, а в доброте сердечной. Что по любви, от сердца открытого делается — тому и ближний рад, и Господь за то наградит. Господь-то всё приемлет — и горбушку, с ближним разделённую, и копеечку последнюю, и слово милосердное; Он и дела принимает, и намерения приветствует, и труды почитает, и жертвы хвалит. Но только что ты сделал из этого? Ничего! Так что сам и есть всему виной — и разрухи, и запустения, и всего доброго забвения.

Он ищет оправданий, которых там, в его избе, куда взгляд ни кинь — пруд пруди. Но здесь их нет. И совесть его, как власть имеющая, велит ему молчать... Он думает о жене, — как она? — но не смеет спросить. И молчит...

— Ладно уж, — отец Сильвестр вдруг смягчает и за строгостью его проступает та самая давешняя земная доброта, — об Анастасии хочешь узнать? Что дозвоительно тебе ведать, скажу. Не оставил её Господь. За муки её земные, за смиренное, покорливое сердце не знает она нынче ни в чём нужды и печали более не ведает. Это всё, что положено тебе пока знать. Если будет на то для тебя Божия воля, узнаешь поболее. Только помни: сейчас ты под вопросом. А как дело своё поправить, ты уж теперь сам рассуждай.

— Да, я понял. — Он сокрушённо кивает головой и замечает свои, всё ещё протянутые за благословением, ладони. И вдруг видит, что батюшка осеняет его Крестом и подаёт руку.

Он бережно принимает её, целует с чувством детского восторга и никак не хочет отпустить. Но отец Сильвестр осторожно отнимает и говорит, словно прощается:

— А на отца Никона ты обид никаких не держи, на исповедь к нему ходи, Таинства принимай. Ему же ещё много поправок выйдет: так что исправится и в силу войдёт. Да у него и фамилия-то знаешь какая? О-о! — Отец Сильвестр сворачивает губы в трубочку и улыбается...

Это действительно прощальные слова... Разом всё исчезает, пред глазами пестрая невнятная суматоха... Какие-то звуки врываются извне и выталкивают разум на поверхность, к свету, к воздуху, к небу...

Первое, что почувствовал Иван Васильевич, проснувшись — приютившегося под боком кота. Невесть как разыскавший хозяина Калач, выражая своё полное довольство и преданность, старательно мурлыкал.

— Молодчинка-скотинка, любишь деда своего. — Иван Васильевич приласкал кота и задумался над последним из сна вопросом батюшки Сильвестра. Какая же фамилия? Вроде бы слышал? Он рассеянно поглаживал выгнутую тугим луком спину Калача и всё никак не мог вспомнить. Какая же? И вдруг всплыло, как лёгкое облачко — не иначе подарок от батюшки Сильвестра. Оттуда! Колычёв его фамилия. Отец Никон Колычёв! И всё же? В чём заковыка? Фамилия как фамилия! И чего это батюшка так восторженно губки округлил? Нет, — мысленно сдался он, — не доискаться сейчас. Потом спрошу у кого. Да и вообще... Давешний сон, в своей необыкновенной пугающей достоверности и в то же время полной своей невозможности, никак не укладывался в голове. Не сейчас! — отодвинул он от себя целый ворох вот-вот готовых нахлынуть мыслей. — Позже, ещё будет время...

А у Касмановых гремела музыка, народ вовсю гулял и веселился. «Сколько ж я проспал? — Иван Васильевич растерянно почесал затылок. — Не иначе уж к вечеру дело?» Он разглядел небрежно раскиданную по сторонам дороги малютихинскую заставу. Это означало одно: свадебный поезд давным-давно прибыл и все получили, кто что хотел. Действительно, с другого конца деревни доносился весёлый наигрыш гармонии; кто-то во весь голос распевал частушку:

Погляди, дроля, на небо.  
После неба — на меня.  
Как на небе тучи ходят,  
Так на сердце у меня.

А со стороны Касмановых, словно соревнуясь с озорным бабьим распевом, звериный мужичий голос орал под грохот электрогитар:

Он съел живьём крысу, он выпил кровь кобры,  
Спалил дотла ведьму, собрал её пепел,  
Посыпал им тело.

«Господи, помилуй!» — прошептал Иван Васильевич и перекрестился. Он похлопал себя по бокам, стряхивая налипшую сухую траву, и побрёл к своему дому — прятаться теперь не имело никакого смысла. Он добрался до палисадника и услышал, что пение, с противоположного от Касмановых конца деревни, вроде как приближается. Действительно, гармонь резвилась уж где-то рядом, да и слова частушек звучали совсем явственно и разборчиво.

«Машка Темлюкова поёт», — сообразил Иван Васильевич. Уж её-то голос он не спутает ни с каким иным. Как овдовел, было дело — сватали её за него. Ничего из этого не вышло — и слава богу! А поёт-то хорошо! Он заслушался и чуть не пропустил момент появления под его окнами шумного общества деревенских, неспешно перемещающихся в сторону

разгуляй-свадьбы. Метнулся за угол, в тень, и уж оттуда украдкой смотрел за дальнейшим. Разглядел Анну Колтавскую и Марию Наговую — тоже почти что его невест... Не сиделось на месте деревенским свахам — всё бы им судьбу чью-то устраивать, тем паче — вдовцов. Но не решился Иван Васильевич жизнь свою менять: пусть, дескать, как есть — и, опять же, слава богу! Была в обществе и Малютиха с сотоварищи, но уже не атаманила — набралась, так что еле плелась в конце...

Машка Темлюкова пела, пританцовывая; рядом двигала боками Колтавская и стучала в ложки...

Навстречу, от Касмановых, неслось что-то уже более спокойное, но всё равно невнятное...

Деревенское общество миновало его дом и потянулось в гору. Там, в самой уж близости друг от дружки, обоюдное пение слилось в какую-то не разбирающую кашу... и вдруг всё замолкло. В минуты этой напряжённой тишины Иван Васильевич и сам занервничал, томясь ожиданием: как-то решится? Нальют и вон сопроводят или примут и за стол усадят?.. Внезапно тишина треснула от тихого сначала, а потом — всё более решительного и громкого вступления гармонии. Высокий голос гармониста прорезал набухающее уже сумерками небо над деревней и изогнулся над ней радугой:

По просёлочной дороге шёл я молча,  
И была она пуста и длинна.  
Только грянули гармошки что есть мочи,  
И руками развела тишина...

И вдруг взорвалось уже общим — и тех, и этих — хором, так что Иван Васильевич чуть не присел от неожиданности — столько нерастраченной народной силы разом выплеснулось в окружающее пространство:

А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала,  
И крылья эту свадьбу вдаль несли.  
Широкой этой свадьбе было места мало —  
И неба было мало, и земли.

Кот Калач стремглав дунул в кусты, а Иван Васильевич улыбнулся: наша ведь вышла победа! Наша!

Он готовил ужин, чаевничал и всё слушал, как гуляет у Касмановых свадьба. Но уж не гудели более постылыми словами громкоговорители. Общество, не стесняя себя, пело что-то знакомое и родное...

Вскоре он, однако, совсем перестал прислушиваться. Пережитое, — по преимуществу из давешнего сонного видения, — обрушилось на него таким собранием мыслей и раздумий, что сердце зашло болью, а душа — тягостным томлением. И во сне не было ему покоя: он метался в постели и что-то вскрикивал, так что приткнувшийся в ногах Калач то и дело вздрагивал и тревожно поводил из стороны в сторону треугольниками ушей...